

Бобовое поле

Тем временем мои бобы, которых я насадил столько рядов, что они вместе составили бы семь миль, требовали опалывания; первые успели подрасти, прежде чем я посадил последние, и медлить с этим было нельзя. В чем был смысл этого почтенного занятия, этого гераклова труда в миниатюре, я и сам не знал. Но я полюбил свои бобы, хотя их было гораздо больше, чем мне требовалось. Они привязывали меня к земле, и я черпал в них силу, как Антей. К чему мне было растить их? Одному небу известно. И все-таки я трудился целое лето, чтобы вырастить бобы на полоске земли, где прежде выростали только лапчатка, ежевика, зверобой, сладкие лесные ягоды и красивые полевые цветы. Что суждено мне знать о бобах, или бобам обо мне? Я хожу за ними, окучиваю их мотыгой и весь день оберегаю их; это составляет мой дневной труд. У них красивые широкие листья. В помощниках у меня состоят росы и дожди, увлажняющие здешнюю сухую почву, и сама почва, хоть она не слишком плодородна и порядком истощена. Врагами являются черви и холода, но больше всего сурки. Эти последние начисто съели у меня четверть акра. Впрочем, имел ли я право изгонять зверобой и все прочее и распахивать древний травяной заповедник? Скоро, однако, остальные бобы станут для сурков слишком твердыми и надо будет опасаться новых врагов.

Я хорошо помню, как четырех лет от роду меня везли из Бостона сюда, в родной мой город, через эти самые леса и поля, к пруду. Это одно из первых моих воспоминаний. И вот сегодня вечером моя флейта будит эхо над теми же водами. Еще стоят сосны, которым больше лет, чем мне; а те, которые повалились, пошли мне на дрова; и всюду вокруг подымается новая поросль, и скоро новые деревья будут радовать глаза других детей. Кажется, что тот же зверобой растет на лугу из того же вечного корня; я сам участвую в украшении сказочного пейзажа моих детских снов, и одним из результатов моего присутствия и влияния являются вот эти самые бобы и ростки кукурузы и картофеля.

Я засадил на холме около двух с половиной акров; так как землю здесь расчистили всего каких-нибудь 15 лет назад и я сам выкорчевал множество пней, я ничем не удобрил свои посевы; но судя по наконечникам стрел, которые я нашел в течение лета, работая мотыгой, здесь некогда жило вымершее племя, сажавшее кукурузу и бобы раньше, чем белые пришли расчищать землю, так что почва под эти культуры уже была несколько истощена.

Раньше чем на тропинку выскакивал хоть один сурок или белка, раньше чем солнце поднималось над дубняком и высыхала роса — хоть фермеры и предостерегают от этого, я всем советую делать всю работу по утренней росе, — я принимался сравнивать с землей заносчивые сорняки на моем бобовом поле и посыпал их главу прахом[167]. Рано утром я работал босой и возился, точно скульптор, с сырым и рыхлым песком; но потом солнце начинало жечь мне ноги. Солнце светило мне, а я медленно проходил взад и вперед по желтому песчаному холму, между длинных зеленых рядов, 82 ярда длиной, одним концом упирившихся в дубняк, где я мог отдохнуть в тени, другим в лужайку, заросшую ежевикой,

где зеленые ягоды успевали потемнеть, пока я проходил следующий ряд. Я выпалывал сорняки и подсыпал свежей земли к корням бобов, помогая этому сорняку, который сам посадил; я заставлял желтую почву выражать свои летние думы бобовыми листьями и цветами, а не полынью, пыреем или бором; я требовал, чтобы земля сказала «бобы» вместо «травы», — это и был мой дневной труд. Не имея ни лошади, ни вола, ни батраков, ни новых сельскохозяйственных орудий, я работал гораздо медленнее обычного и больше успел сдружиться со своими бобами. Но физический труд, даже однообразный, никогда не бывает худшим видом лени. Он заключает в себе вечно живую мораль, а ученому дает классический результат. Для путников, направлявшихся через Линкольн и Уэйленд куда-нибудь на запад, я был истинным *agricola laboriosus* (трудолюбивым земледельцем — лат.); удобно сидя в своих повозках, упершись локтями в колени и свободно распустив вожжи, они созерцали трудолюбивого домоседа. Но скоро моя усадьба исчезала у них из виду и из памяти. Она была единственным возделанным участком на большом расстоянии, так что пользовалась у них особым вниманием; иной раз работавший на поле слышал даже больше, чем предназначалось для его ушей: «Кто же это сажает бобы так поздно? Да еще и горох», — потому что я все еще сажал, когда другие уже начинали мотыжить — об этом законопослушный фермер не мог и помыслить. «А кукурузу, верно, для скота, да, наверное для скота». «Неужели он и *живет* тут?» — спрашивает черный чепец у серого сюртука, и угрюмый фермер придерживает охотно повинующуюся лошадку и спрашивает, отчего я не положил удобрения в борозду, и рекомендует очистки или хоть какие-нибудь отбросы, а то еще можно золу или известь. Но у меня два с половиной акра этих борозд и нет тележки — всего только мотыга, да две моих руки; конной тяги я не признаю, а за опилками далеко ехать. Проезжающие вслух сравнивают мое поле с другими, которые им встретились, и мне, таким образом, становится известно, как я котируюсь на сельскохозяйственном рынке. Мое поле не попало в отчет м-ра Кольмана[168]. А, кстати, кто определяет ценность урожая на еще более обширных полях, не возделанных человеком? *Английское сено*[169] тщательно взвешивается, в нем вычисляется процент влаги, а также содержание силикатов и поташа; но во всех лощинах и высохших лесных прудах, на пастбищах и на болотах вырастает обильный и разнообразный урожай, не собираемый человеком. Мое поле было как бы связующим звеном между дикими и возделанными полями; как бывают страны цивилизованные, получивилизованные и дикие, или варварские, так и мое поле было, однако не в дурном смысле, полукультурным. Я выращивал бобы, радостно возвращавшиеся в первобытное, дикое состояние, и моя мотыга исполняла им *Ranz des vaches*[170]

Вблизи от меня, на верхней ветке березы, поет пересмешник, или певчий дрозд, как его называют иные, поет все утро, очень довольный моим обществом; не будь здесь моего поля, он отыскал бы другое. Ты сажаешь, а он приговаривает: «В зем-лю, в зем-лю, глуб-же-са-жай, глубже-са-жай, вы-дер-ни, вы-дер-ни, вы-дер-ни». Но моим семенам он не страшен — это не кукуруза, и такие враги им не опасны. Неизвестно, помогает ли работе его трескотня, его дилетантские упражнения на одной струне или на двадцати, но они все же приятнее щелочного раствора или извести. Это было дешевое удобрение, но я твердо верил, что от него будет польза.

Подгребая мотыгой землю вдоль своих гряд, я тревожил прах неизвестных племен, некогда живших под нашим небом, и извлекал на свет их немудреные орудия войны и охоты. Они были перемешаны с простыми камнями, из которых иные были обожжены в индейских

кострах, а иные — на солнце, и с осколками глиняной и стеклянной посуды, оставшимися от более поздних земледельцев. Когда моя мотыга звонко ударялась о камни, эта музыка подымалась к лесу и к небу, сопровождая моему труду, который тут же приносил неисчислимый урожай. Это уже не было простым опалыванием бобов; и я вспоминал с гордостью и сожалением, если вспоминал вообще, своих знакомых, которые отправились в город слушать оратории. Под вечер — я иногда работал весь день — надо мной начинал кружить ястреб, маленький, точно соринка в глазу, вернее, в глазу у неба, по временам камнем падая вниз с таким звуком, что, казалось, небесная завеса рвалась в клочья, а посмотришь — небесный свод невредим. Эти воздушные чертенята откладывают яйца на земле — в песке или в камнях на вершинах холмов, где их трудно найти; они легки и грациозны, как легкие волны, пробегающие по пруду, или листья, поднятые ветром и взмывшие в небо. В Природе все объединено родством. Ястреб приходится воздушным братом волне, над которой он парит; его крылья, надутые воздухом, под стать могучим крылам морской стихии. Порой я следил за парой ястребов, высоко вившихся в небе, то спускаясь, то взмывая, то сближаясь, то разлетаясь, как воплощение моих собственных мыслей. А то меня привлекали дикие голуби, быстро пролетающие от леса к лесу с трепетным шумом крыльев; или моя мотыга извлекала из-под гнилого пня какую-нибудь диковинную, неуклюжую и медлительную пятнистую саламандру, напоминавшую о Египте и Ниле, и, однако же, нашу современницу. Когда я останавливался, опираясь на мотыгу, я всегда мог развлечься звуками и зрелищами из неисчерпаемого запаса сельской природы.

По праздникам город палит из больших пушек, которые здесь, в лесу, звучат как духовые ружья; порой долетают даже обрывки военной музыки. На моем бобовом поле большие орудия производили такой звук, словно лопался гриб-дождевик; а когда бывали какие-нибудь маневры, о которых я ничего не знал, у меня весь день было чувство, будто на горизонте что-то чешется и вот-вот появится сыпь — корь или скарлатина, — пока попутный ветерок, пролетая над полями и дорогой в Уэйленд, не оповещал меня о том, что это упражняется милиция. Судя по отдаленному жужжанью казалось, что где-то роятся пчелы, а соседи, по совету Вергилия, бьют в самую звонкую из домашней утвари и этим *tinnabulum* (звоном — лат.) пытаются загнать их в улей. Когда звуки совсем замирали и жужжание смолкало, и ветер, даже дующий в мою сторону, уже ничего не доносил до меня, я знал, что трутни все до последнего загнаны в Мидлсекский улей и теперь помышляют только о меде, которым он намазан.

Я с гордостью сознавал, что свобода Массачусетса и всей нашей родины находится в столь надежных руках; я мог снова взяться за мотыгу с легким сердцем и спокойно предаться своим трудам, преисполненный веры в будущее.

Когда играло несколько оркестров, казалось, что весь поселок стал огромными мехами, и каждое здание то шумно раздувается, то опадает. Но иногда ко мне в лес доносились подлинно вдохновенные звуки; трубы пели о славе, и я ощущал желание проткнуть какого-нибудь мексиканца[171] — стоит ли останавливаться перед таким пустяком? — и искал глазами сурка или скунса, на котором мог бы испробовать свой воинственный пыл. Бравурные звуки доносились словно из далекой Палестины, напоминая о крестовых походах; верхушки вязов, осенявших поселок, слегка вздрагивали в такт музыке. То бывали великие дни, а впрочем, небо над моей поляной выглядело таким же великим и вечным, как

всегда.

Очень интересным было мое длительное знакомство с бобами, пока я их сажал, окапывал, собирал, обмолачивал, лушил и продавал — последнее было всего труднее, — а можно добавить еще: и ел, потому что я их пробовал. Я решил познать бобы. Выращивая их, я работал мотыгой с пяти утра до полу дня, а в остальное время обычно занимался другими делами. Интересно также близкое знакомство, которое сводишь с различными видами сорняков, — да буди мне позволено несколько повторяться, потому что и в самой работе немало повторений, — и как беспощадно сокрушаешь их нежные стебли, и какие несправедливости творишь своей мотыгой: одни растения сравниваешь с землей, другие усердно возделываешь. Вот полынь, вот белая лебеда, вот щавель, вот пырей — руби их, выворачивай корнями к солнцу, не оставляй ни одного корешка в тени; если оставишь, они повернутся другим боком и через два дня, смотришь, опять свежи и зелены. То была долгая война — не с журавлями, а с сорняками; а на стороне этих троянцев было и солнце, и дождь, и роса. Я ежедневно выходил на подмогу бобам, вооружась мотыгой, и ряды врагов редели, а канавы наполнялись трупами. Не один Гектор в перистом шлеме, на целый фут возвышавшийся над своими соратниками, был сражен моим грозным оружием.

Летние дни, которые иные из моих современников посвящали изящным искусствам в Бостоне или Риме, иные — созерцанию в Индии, а иные — коммерции в Лондоне или Нью-Йорке, я, вместе с другими фермерами Новой Англии, посвятил работе на земле. Не то чтобы я непременно хотел питаться бобами (по части бобов я пифагореец,[172] для чего бы они ни предназначались — для похлебки или баллотировки,[173] и я менял их на рис); быть может, я работал в поле лишь ради образов и тропов, которые пригодятся в будущем какому-нибудь сочинителю притч. В общем, это было редкостным удовольствием, и если бы длить его слишком долго, оно превратилось бы в настоящий разгул. Хотя я не удобрял свои бобы и даже не окучил их все до конца, я мотыжил весьма усердно там, куда я доходил, и был за это вознагражден, потому что, как говорит Эвелин[174] «ни один компост или удобрение не сравнится с постоянным рыхлением и перелопачиванием земли» «Земля, — говорит он в другом месте, — особенно свежевзрытая, таит в себе нечто притягательное, привлекающее ту соль, силу или потенцию (назовите это как хотите), которая придает ей жизнь и является смыслом всего нашего труда на земле, а унавоживание и иное низменное вмешательство — не более как вспомогательные средства». К тому же мое поле было одним из тех истощенных полей под паром, которые отдыхают и, по предположению сэра Кенельма Дигби,[175] привлекают из воздуха «жизнетворящую силу». Словом, я собрал с него 12 бушелей бобов.

Постараюсь быть более точным — недаром многие жаловались, что м-р Кольман описал главным образом дорогостоящие опыты фермеров-любителей, — и приведу таблицу своих расходов.

Мотыга — 0 дол. 54 ц.

Вспашка, боронование, нарезка борозд — 7.50 (слишком дорого)

Семенные бобы — 3.12 1/2

Семенной картофель — 1.33

Семенной горох — 0.40

Семена брюквы — 0.06

Белая веревка для отпугивания ворон — 0.02

Пользование конным культиватором и оплата работы мальчика (3 часа) 1.00

Лошадь и повозка для доставки урожая — 0.75

Итого: 14 дол. 72 1/2 ц.

Доходы мои (*patrem familias vendacem, non emacem esse oportet* (отцу семейства надлежит продавать, а не покупать — лат.)) составились из следующих статей:

Выручка за девять бушелей двенадцать кварт бобов — 16 долл. 94 ц.

За пять бушелей крупного картофеля — 2.50

За девять бушелей мелкого картофеля — 2.25

За траву — 1.00

За стебли — 0.75

Итого: 23 долл. 44 ц.

Что оставило мне чистого дохода, как я уже говорил, 8 д. 71 1/2 ц.

Таковы результаты моего опыта выращивания бобов. Советую сажать обыкновенные мелкие белые бобы, примерно первого июня, рядами, на расстоянии три фута на восемнадцать дюймов, отбирая для посева чистые и круглые бобы. Остерегайтесь червей, а пустые места заполняйте новыми посадками. Если место открытое, берегитесь сурков, которые почти начисто обгрызают первые нежные листочки, а когда появляются молодые побеги, они опять тут как тут и объедают бутоны и молодые стручки, сидя на задних лапах, как белки. Но главное, соберите урожай немедленно, чтобы уберечь его от заморозков и легче продать; этим вы избежите больших потерь.

И еще кое-чему я научился. Я сказал себе: на следующий год я не столько буду заботиться о посевах бобов и кукурузы, сколько о семенах искренности, правды, простоты, веры, невинности и тому подобного, если они еще уцелели; посмотрим, не удастся ли их взрастить на этой почве, даже и с меньшими затратами труда и удобрения, чтобы они питали меня, потому что этими посевами земля наверняка еще не истощена. Но увы! — так я сказал себе, а прошло лето, и еще одно, и еще, и я вынужден признаться тебе, читатель, что посеянные мной семена, если они *действительно* были семенами добродетелей, были поедены червями

или потеряли всхожесть, но только они не взошли. Люди обычно не бывают смелее своих отцов. Наше поколение наверняка каждый год будет с роковой неизбежностью сажать кукурузу и бобы в точности так, как веками сажали их индейцы и как они обучили этому первых поселенцев. Недавно я с удивлением увидел, как старик, уже по крайней мере в 70-й раз в своей жизни, ковырял мотыгой землю и притом не для своей могилы. А почему бы жителю Новой Англии не испробовать нечто новое и вместо того, чтобы вкладывать всю душу в зерно, сено, картофель и огород, не посеять и других семян? Почему столько заботы о семенных бобах и никакой заботы о новом поколении людей? Разве не питается наша душа радостью, когда мы встречаем человека, в котором укоренились и выросли хотя бы некоторые из названных мною качеств; ведь все мы ценим их больше всяких других посевов, но они большей частью рассеиваются в воздухе? Вот, скажем, попало где-то такое драгоценное качество, как правда или справедливость, пусть даже в малом количестве или в какой-либо новой разновидности. Мы должны поручить нашим посланникам присылать на родину их семена, а Конгрессу — распределять их по всей стране. Когда того требует искренность, нам нечего стесняться и церемониться. Будь меж нами хоть зернышко достоинства и дружелюбия, мы никогда не обманывали бы, не оскорбляли бы, не отталкивали друг друга своей низостью. Плохо, что мы встречаемся второпях. С большинством людей я вообще никогда не встречаюсь; у них, как видно, нет времени; они слишком заняты своими бобами. Как хорошо было бы, если бы человек не гнул вечно спину над лопатой или мотыгой, не вращал в землю, как гриб, а легко стоял на ней, точно ласточка, присевшая отдохнуть:

Он крылья расправлял по временам, Как будто устремляясь к небесам.[176]

Пусть нам кажется, что мы беседуем с ангелом. Если хлеб не всегда насыщает нас, он всегда для нас — благо. Созерцая великодушие в человеке или Природе, приобщаясь к любой чистой и высокой радости, мы распрямляем натруженные спины, становимся гибкими и легкими, забываем о наших недугах.

Древняя поэзия и мифология содержат указания на то, что земледелие было некогда священным занятием, а мы занимаемся им с кощунственной поспешностью и небрежностью и с единственной целью: чтобы усадьбы и урожаи были побольше. У нас нет торжественных церемоний и праздников урожая, которые напоминали бы земледельцу о святости его дела и позволяли выразить благоговейное к нему отношение, — я не считаю такими праздниками наши выставки скота или так называемый День Благодарения. Тут фермера больше всего прельщают премии и выпивка. Не Церере и не Земному Юпитеру приносит он жертвы, а скорее Плутону, властителю ада. Себялюбие, стяжательство и гнусная привычка, от которой никто из нас не свободен, — считать землю прежде всего собственностью или средством накопления — уродуют наши пейзажи, унижают земледельческий труд и обрекают фермера на жалкое прозябание. К Природе он относится, как грабитель. Катон[177] говорит, что плоды земледельческого труда особенно праведны и чисты (*maximeque pius quoestus*), а у Варрона[178] сказано, что древние римляне «звали землю Матерью, или Церерой, и считали жизнь земледельцев самой праведной и полезной, а их самих — единственными потомками царя Сатурна».

Мы склонны забывать, что солнце равно светит на возделанные поля, на прерии и на леса. Все они равно отражают и поглощают его лучи, и поля — всего лишь малая часть величавой

картины, которую оно созерцает, свершая свой дневной путь. Пред лицом его вся земля — возделанный сад. Будем же пользоваться его светом и теплом доверчиво и великодушно. Что из того, что я купил семена бобов, а осенью собрал их? Поле, которое я так долго созерцал, не мне одному обязано урожаем; высшие силы поили его влагой и заставляли зеленеть. Не мне и собирать весь урожай. Разве суркам тоже не принадлежит в нем доля? Пшеничный колос (по латыни *spīca*, а раньше *spesa*, от *spe*, что означает «надежда») не должен быть единственной надеждой земледельцев, ибо он вынашивает не одни только зерна (*granum* — от *gerendo*, «носящий».) Тогда нам не придется бояться неурожаев. Отчего бы нам не радоваться также и сорнякам? Ведь их зерна — житница птиц. Не так уж важно, чтобы урожай наполнил закрома фермера. Истый земледелец должен жить без тревог — ведь не заботится же белка о том, чтобы каштаны непременно каждый год урождались, — пусть он завершает свой труд ежедневно, пусть не притязает на весь урожай своих полей и приносит мысленно в жертву не только первые, но и последние их плоды.

Версия #1

Зверобой создал 10 апреля 2025 22:07:44

Зверобой обновил 10 апреля 2025 22:08:30